

СЕРГЕЙ

ПАЛАСИ

Сереевская
гроза

СЕРГЕЙ ПАНАСЯН

Серебряная гроза



СЕРГЕЙ ПАНАСЯН

Серебряная гроза

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

ББК 84 Р7
П 16

Художник
Анатолий МЕШКОВ

4702010201—480
П ————— 99—88
083(02)—88

ISBN 5—265—00193—X

© Издательство
«Советский писатель» 1988

БАБЬИ ДУШИ

Рассказ

Это было лет двенадцать назад.

Осень еще только разгоралась. Желтая сбруя берез вызванивала легкие, печальные песни. Богатые леса роскошно и небрежно сыпали в травы монеты прошедших дней. Роса висела до полудня. По заречным лугам бродили лошади, и веяло холодной тишиной.

Гибкая заросшая тропка тянула меня в дубовый лесок. Под ногами шуршало, шлепались желуди. Я здесь был впервые. Мне сказали, что идти надо через дубняк, потом через болотце, миновать старый мост, небольшой перелесок, низину, и дальше пойдет сосняк, где и есть этот самый кордон.

Я не думал о том, что осталось позади. Старался не думать. Но осенняя волна грусти снова и снова топила меня в прошлом.

На переправе паромщик сказал, что семья лесничего велика, но пожить пустят, места у них много, гостей редко приходится встречать. Он медленно и важно закурил и добавил зачем-то тихим болезненным голосом, что лесничий-то, Николай его зовут, этот лесничий больно уж тощ да мал, сморчок, а не мужик. И тут он многозначительно смолк и посмотрел на меня оценивающе, оглядел с ног до головы. «Ну и что?» — ответил я. Паромщик потоптался на месте, выпустил изо рта голубые змейки дыма и снова тихо так сказал, что жена лесничего в молодости-то хороша была, а теперь хуже. Я подозрительно глянул ему в лицо. Потом мы молчали минут пять. Я осматривал свое ружье, перекладывал пожитки в рюкзак, покрепче завинтил фляжку, от которой промок бок рюкзака. Паромщик внимательно наблюдал. И вдруг выложил: «Она, Марусяка, карточки хлебные везла, на саянях, в войну было дело. Николка-то подкараулил. Он в армию не ходил, негоден был. А она в самом соку, молодая, красота, да и только. Тут он ее схапал. Зимой на саянях. В метель самую. Стыдобушка». Я затанул рюкзак и осторожно покосился на паромщика. Тот смотрел за

реку, в самую даль. Глаза светло-зеленые, небрит и морщинист, лет за пятьдесят ему. Молчать было тоскливо, и я спросил: «И как она потом? Маруся?» Паромщик усмехнулся: «Живут. Детей куча. Я так думаю, что потому за него пошла, что боялась, дескать, осрамит Николка, людям расскажет. А он ведь все равно рассказал». Мы еще помолчали, вдруг опять он добавил: «Переносывался я с Маруськой-то, с фронта писал. И она. Потом, после дела такого, писем и не приходило». Он по-прежнему смотрел куда-то за реку, и забытая папироса тлела в его руке.

В лесу стояла такая тишина, что я поневоле оглядывался на всякий шорох. Слушал и шел дальше. Грибов было много. Синявки и маслята выползли прямо на тропу. Видимо, ходили здесь редко, грибы были не ломаны. По обочинам мелькали большие семьи лисичек. Я набрал полную фуражку и карманы, чтобы хоть не с пустыми руками заявиться к лесничему. На дне рюкзака завернута в газету поллитра водки. На всякий случай. Еще у меня было рублей тридцать денег, все рублевками.

Я уже входил в сосняк. Кордон должен быть близко. За следующим поворотом? Я стал часто наклоняться и рвать холодную бруснику. «Прямо непонятно, как тут равнодушно ходят взад-вперед лесничие эти? Эта же тропка к реке, раз в неделю все равно ходят в село. В магазин».

Что-то большое с ревом метнулось в мою сторону, я со страха отпрянул и схватился за ружье. Большая рыжая корова с великолепными рогами замерла в трех шагах от меня. Протяжно замычала. Я, сраженный внезапной встречей, стоял неподвижно, широко расставив ноги. Сердце гулко колотилось. Это была только корова, но... Но все-таки рога дьявольски поблескивали и нацелены были прямо в мой лоб. Я тихонько отступил, под ногой хрустнуло. Коровьи глаза черны и влажны, она презрительно жевала. «Н-но! Пошла!» Постучал сапогом по дереву. И тут я с ужасом заметил, что вымени у коровы... нет, и понял, что это должен быть бык. Как раз о быках я знал много неприятного. Пока я соображал или, вернее, стоял, ничего не соображая, сзади раздался высокий женский крик:

- Эй, вы! Пропустите, пожалуйста, Лазаря!
- Кого? — спросил не оглядываясь.
- Да Лазаря! Лазаря!

Я боялся повернуться к быку спиной. Поэтому пожал плечами и крикнул довольно громко:

— Пусть он обойдет.

Лазарь мотнул головой, наклонил рога, я молниеносно спрятался за сосну. Лазарь съел синявку.

Послышались шаги, я увидел девушку и обомлел. Сердце мое заколотилось еще сильнее даже, чем при виде быка. Необычное лицо явилось мне. Девушка с хвостостиной прошла мимо и легонько хвостнула быка меж глаз:

— Вернулся все-таки? Не буду я для тебя косить. Ищи сам! А ну пошел! Пошел!

Лазарь медленно повернулся и, ломая кусты, двинулся в обход.

Девушка была в простом платье серого, линялого цвета, оно было ей немного мало и туго обтягивало бедра и плечи. Ситцевый фартук колыхался оборками. Но больше всего меня поразило лицо, необычной, нездешней красоты. Волосы цвета спелой соломы разбегались крупными волнами и кое-где вились кольцами, они так густы, что девушка все время откидывала пряди от лица, небрежно заводя их за уши. Глаза темны и выразительны. Тонкие черные брови разлетались по чистому лбу, при таких светлых волосах они неожиданны. И вся она была свежа и чуть-чуть смугла. Не взглянув на меня, она пошла по тропинке.

— А кордон далеко?

Она ответила не оборачиваясь, так, что я еле слышал:

— Рядышком.

И я пошел за ней. «Маруся, что ли? Да какая же Маруся! Молода...»

— Зовут вас как?

Девушка не ответила.

Из-за сосен показался большой деревянный дом с многочисленными пристройками и хлевами, вокруг широко раскинулись огороды. Среди картофельного поля — новая рубленая баня.

На завалинке на черных противнях рдела и сушилась рябинная ягода. Тут же на корточках сидела девочка лет шести, она вытаскивала из маленького подола рябиновые кисти, ощищивала ягоду за ягодой и осторожно клала на противень. Девушка остановилась рядом и недовольно сказала:

— Ну на кой? На кой ты это делаешь?

Девочка была рыжей и бледненькой, она почесала свою копну волос, бесцеремонно задрала подол, покрепче прижав к животу оставшиеся кисти, хотела что-то ответить, но промолчала. Стала продолжать свое дело. На меня она даже не взглянула толком. Девушка наклонилась над ней, свесились ее тяжелые волосы:

— Сколь тебе раз говорёно?

— Ты... знаешь что?.. — зло и тоненько воскликнула девочка. — Ты... знаешь что?.. Ты лучше ко мне не лезь!

— Вот ведь... — только и ответила девушка и пошла в дом.

Я стоял переминаясь. «Не очень-то они гостеприимны».

Девочка присела на землю, смешно растопырив колени, проглотила горсть ягод и не поморщилась.

— Дома кто-нибудь есть?

Девчушка внимательно посмотрела на мои ноги:

— Всегда есть.

Я тщательно вытер сапоги о траву и пошел к крыльцу. Девочка запела: «Я люблю тебя, жизнь, что само-о па си-ибе и не нова-а...»

Выбежал черный пес и молча уставился желтыми глазами. Я его обошел, постучался в дверь.

— А не закрыто! — раздался мужской голос.

Лесник и правда был мал и сухой как сучок. Он согласился, чтобы я пожил у них, но только предупредил:

— Если выпьешь, дак чтоб без матерных слов, потому как у меня две девки... И пороху не дам, не надейся... Клопов нет, вывели прошлогод...

За ужином я увидел всю семью. Надо сразу сказать, что семья была какая-то необычная. Было удивительно и странно рассматривать эти необыкновенные лица, склоненные над тарелками при свете керосиновой лампы. Хозяин Николай блестел маленькими уголочками глаз, шея длинная и красная, переломленная кадыком, плоская лысина в тонком дыме редких волосин. Он был похож на уродца, лишь руки, большие и красивые, внушали уважение, он их часто клал на стол и оглядывал семью — все ли в порядке. Потом косился на жену, косился боязно и восхищенно. Я тоже на нее косился. Маруся светилась в потемках чистым лицом, она походила на княгиню с суриковских полотен: и платок

повязан низко над бровями, и глубокие колодцы глаз плескались мраком. Она была словно вырезана из белого камня, сильная и большая, ни одного лишнего движения, все делала тихо и ладно, как бы повелевала всем лениво и властно. Я сам себе казался маленьким и никудышным, глядя на эту неповторимую женщину. «Ей бы в кино сниматься, играть героинь шолоховских... Аксинью бы...» Она вдруг улыбнулась:

— Рот-то не разевай, а то все остынет.

Подложила гречневой каши:

— Ешь словно беззубый! Смотри, греть для тебя специально не буду.

Я стал старательно жевать, набивая рот.

Старшая дочь красиво моргнула мне своими глазами, которые казались в сумраке смоляными, и я почувствовал себя вконец ничтожным, уж больно великолепны были эти глаза, и вообще мне стало казаться, что все они, сидящие за столом, ни черта не понимают в красоте, поскольку не обращали на свою красоту никакого внимания.

Хозяин сказал:

— Эмилия, не пей.

И тут я узнал, что девушку зовут Эмилия. «Эмилия, значит? Это что-то речное».

— Пусть пьет, это же настойка! — сказал мальчик лет шестнадцати, единственный сын лесника.

Он был похож на Эмилию, только волосы черные. А третий отпрыск — эта самая рыженькая девчушка. Сперва она показалаась невзрачной, но теперь, ближе, я разглядел, что черты лица ее правильны и нежны, рот малиново выгнут, а глаза так светло и чисто распахнуты, что сердце замирало от восхищения: «Вырастет, вот вырастет, это будет — да! Ну надо же... Такие все...»

Я долго не мог уснуть и гладил ладонью прохладный полог. «Как везет иногда людям. Сразу столько красивых в одной семье. Смотрел бы и смотрел, и грустно как, что это все здесь было и останется, и я тут совершенно ни при чем, они не больно меня и замечают».

Мысли мои немного расплылись. «Вот здесь в лесу, в глухом уголке такие красавцы живут... И Эмилия... как в романтическом рассказе... Она бы в меня влюбилась, ведь кого ей тут любить? Я бы увез ее... Нет, нет! Я бы тут остался. Увезить нельзя. Посмотрит на людей и выберет получше, чем я... Такая-то краса... Да и мать ее,

вот же дура... За сморчка пошла! Да и перевозчик ей не пара... Да она в городе... Да она бы себе такого нашла! И сын, как его? Авдей. Авдей, он, конечно, в город уедет, и женщины за ним всю жизнь стадом будут ходить. И ему все легко будет даваться. И девчушка эта Таня... Я уже стариком буду, когда вырастет... Эмилия. Хоть бы один поцелуй... Хоть бы один».

Дом большой, комнат много, стеночки деревянные, дощатые. Кто-то прошагал, скрипя половицами, и я услышал тихий шепот.

— Мария, Мария, иди, хватит шастать-то в темноте, — звал хозяин.

Половицы снова заскрипели. Мария, видимо, подошла, наверное, стала раздеваться, я представил и задохнулся от злости. «Это ведь как бывает! Мария...»

— Ты пошто не спишь? — отвечала женщина.

— Да душно.

— Спи-ко! Волосы вишь у меня спутались, сено нынче толкла на сенник да и платок туда, видно, затолкла...

— Какой платок? — шептал хозяин.

— Да не помню. Ты пошто мне не даешь волосы-то резать? Быстро ведь отрастут.

— Не режь. Если не отрастут?

— Постоялец-то какой пришибленный. Не больной он?

— С чего ты взяла?

— Пьет мало, ест мало... Говорит мало.

— Эдакой характер, поди.

— Бедненький.

Я натянул одеяло на уши. «И она еще меня жалеет! Она что, в зеркало никогда не смотрелась? А и правда, вроде в дому нет ни одного зеркала».

— Спи, не ерзай! — услышал я сердитый шепот хозяйки.

— Че, и не дышать мне?

Я наострил уши, хотя с моей стороны явно было бессовестно подслушивать, но тут я не мог удержаться. «Ага, сейчас узнаю...» Я и сам не понимал, чего и узнать хотел. Что-то треснуло, наверно бревно в стене или угол дома осел.

— Эмилии надо бы пальто купить. Я говорил, что сыму денег с книжки сколь хочет, так ить не хочет... Пошто?

— А я те говорю, поезжай в село да дознайся, с кем она дружит. Замуж надо отдать. Иль я сама съезжу!

— Опять пьяная приедешь...

— Дикой ты! Дурак и есть! Когда это я пьяная-то была? Выдумщик.

— Не езд, сам я... Ты паромщику-то денег, поди, должна?

— Дикой! Я его и не видала давным-давно! Да ведь на своей лодке ездим. Пошто я ему должна-то?

Разговор смолк. Через некоторое время кто-то захрапел. «Ага, хозяин храпел. А она, бедная, лежит, в потолок смотрит, паромщика вспомнила, письма на фронт».

Печь была топлена, в избе жарко. Я полежал еще минут десять и решил выйти в ночь, подышать прохладой, выкурить сигарету.

Проходя мимо хозяйской комнаты, не выдержал, глянул в растворенную дверь, мимоходом глянул и сразу пошел дальше, но мимолетная картина так и осталась в моих глазах. Скрюченный мужичок сидит на кровати, свесив худые кривые ножки, и кровать, облитая луною, и женщина спит разметавшись, одеяло почти съехало, и сорочка комками снега, подушка облита черными волосами.

Я быстро вышел на крыльцо. «Значит, волосы у Марии черные, как у сына. Неужели она храпит?»

Из-под двери выпрыгнул большой черный пес и уставился молча в мои глаза. «Пес-то и не лает совсем. Немой, что ли? Бывают собаки немые? Или заколдовано здесь все?» Я усмехнулся и обошел пса, облокотился на тонкие перила. Лес молчал, и болото за огородами блестя под луной, казалось, сейчас там плеснется русалочий хвост. Я прищурился, закурил, подождал. Хвост не плеснулся. В щеку впился одинокий комар. Что-то завозилось под крыльцом. «Хоть бы Эмилия вышла. Хоть бы вышла. И не больно я плох. И молод, и холост. Не больно и плох». В сенях что-то заскрипело. «Она? Она?!» Послышались шаги, кто-то сзади подходил. Чье-то дыхание. Кровь хлынула в лицо. «Эмилия?» Быстро оглянулся. Лесник стоял на порожке, уцепившись руками в косяки:

— Уборна-то в сенях... Правая дверь!

Я не сразу ответил, и он повторил:

— Уборна-то в сенях...

В этот день я заблудился и к вечеру зверски устал. Мысли мои то и дело возвращались к лицу Эмилии, к этому дому, к молчаливому Авдею, к безмолвному псу, хозяину и к этой маленькой Дюймовочке-Тане, к странной Марии, которая утром бесцеремонно осмотрела мою одежду, отобрала рубашку: «Потому как грязная!» — и дала рубаху хозяина, большую и клетчатую, она мне была как раз. «Интересно, почему лесник большие рубахи носит? Или она ему покупает такие? Или он сам?»

Лесник поманил меня пальцем:

— Если бы у ты была собака, может, и подстрелил бы кого? Или ты редко ходишь на охоту?

— Редко.

— А ты и с виду не охотник, на врача большеходишь. Да и сезон-то сейчас не охотничий, ты, я вижу, и этого не знаешь... Запрещена-то стрельба теперь, но ты все однож никого не убьешь...

Эмилия лукаво брызнула взглядом:

— Он и ногу обмузолил...

— Сейчас я ему смажу! — важно и по-взрослому заявила Таня, старательно вымыла руки под умывальником, куда-то сбегала и принесла маленькую баночку. — Сымай сапог.

— Который? — Мне стало неловко от ее серьезности.

— Обмузоленный — и живо!

Она осторожно помазала.

— Приду еще перед сном и утром. Не бегай никуда.

Я склонился над девочкой:

— А чем это ты мажешь?

Таня вскинула глаза, такие глубинные, ресницами качнула и встала. На носике я заметил несколько веснушек и усмехнулся: «Ага, видать, в любой красоте изъяны есть!» Она отерла ладонь о платице и ушла, сверкая розовыми пятками.

Лесник вздохнул:

— У нее этих баночек полна комната. Всех мажет. Бабка у нас была, полоумная немного, траву, мусор таскала, сушила, снадобья всякие, вот и научила девчонку. Прошлогод бабка померла, когда клопов травили. Танька-то теперь че? Этими зельями и хозяйствует. Играет, делать-то нечего. Всяконьку траву знает.

Я заинтересовался:

— Врачом хочет стать?

— Кабы! Говорит, в магазине буду бусами торговать. У ей этих бус целая коробка. Елочные стеклянные каждый год покупаю. Ну и сама делает из речных ракушек, из ягод, из дряни всякой, желудевые... Из рыбьих глаз... Чего только и не делает. Отучать надо. В школу на будущий год. Говорит, что ни за что не пойдет. Вот, поди, и поговори с ней!

— Хорошая девочка.

— Кабы! Все поровит по-своему. Вы, говорит, в мою жизнь не вмешивайтесь. Вы, говорит, кабы клопов не вытравили, так бабушка, говорит, бы жила.

Таня остановилась на пороге и внимательно слушала отца, в то же время глаз ее косился на мой перстень с камушком.

Я снял перстень:

— Нравится? Бери.

Таня подбежала, потрогала его пальчиком, оперлась локотком на мое колено и тихо спросила:

— Не ворованное?

Я растерялся, лесник хохотнул и пошел на кухню, где возилась у печи Маруся.

— Не ворованное, — так же тихо заверил я девочку.

Таня оглянулась на кухню и спросила еще тише:

— Дареное?

Глаза ее были настолько близки от меня и чисты, что я смутился и не сумел соврать:

— Дареное.

Девочка отпрянула с негодованием:

— Так ведь дареное-то нельзя отдавать! Не знал? —

И ушла, презрительно мелькая розовыми пятками.

Авдей сидел в углу комнаты, не обращая на окружающих никакого внимания. Я заметил, что все они в этой семье жить умеют именно вот так, в себе, словно погружаются в безразличие, в оцепенение какое-то, словно надевают шапку-невидимку и сидят, не обращая внимания на весь белый свет, словно в это мгновенье самое важное внутри самого человека. «И о чем он думает? А может, скучно ему здесь, парню молодому?»

За ужином я не вытерпел:

— И что вы здесь все лето? И так все годы? Живете — и никуда?

Мария окатила меня тяжелым взглядом:

— В село ходим. В магазин. В кино там... В магазин часто.

Воцарилось молчание. Вдруг заговорил Авдей, и я заметил, что он немного разволновался:

— В школу ходим. Я нынче в десятый иду. Милька уж кончила, в институт поступала нынче, да не вышло.

Я удивился, мне почему-то и в голову не приходило, что они учатся как обыкновенные дети и что Эмилия еще и в институт поступала, вот тебе и лесная дикарка... Чтобы еще что-то сказать, я спросил:

— А ты куда после школы?

Авдей положил ложку, глаза влажно заблестели, дрогнул красивый подбородок:

— Лесничим буду. Я в Ленинградскую лесотехническую академию поступаю! Обязательно! А потом сюда вернусь. Отец уже помрет.

Я осторожно глянул на лесника: «Разве можно про отца так?»

Но тот даже не шевельнулся при этих словах, а сказал как-то обычно и буднично:

— Ага! Больше пяти лет не протянуть...

Таня стукнула кулачком по столешнице:

— А я говорю — десять! — Повернулась к брату: — Десять! — И обратилась к отцу: — Пил сегодня?

Он ответил ей как взрослой:

— Пил. — И объяснил мне, смущенно улыбаясь: — Поит своим снадобьем, глупышка!

Маруся встала, отодвинула тарелку и быстро вышла из комнаты. Эмилия же смотрела на меня весь ужин своими темными глазами, и я старался сидеть с достоинством и есть много. «Хоть бы один поцелуй».

...Дни проходили, похожие один на другой, с вечерними трапезами при лампе и душными ночами. Единственный лишь раз повезло — подстрелил дуру лису, да и то наверняка случайно. Но я был горд и доволен. По этому случаю топилась баня, и хозяин сказал, что хвост лисий надобно обмыть.

Я должен был идти в баню после Эмилии и Тани, третьим паром, вместе с Авдеем. Первым паром мылся сам хозяин с женой. Он любил подолгу париться и ходил первый, чтоб пожарче было. Маруся приготовила мне чистое белье с хозяйского плеча, и я ждал под окошком

своей очереди. Вспоминалась охота и как я бежал сквозь кусты, крича от радости и прыгая через редкие пеньки.

Из щелей предбанника валил легкий парок. Выбежала на порог Таня, голенькая и стройная, махнула мне рукой:

— Счас! Скоро мы... — и опять скрылась в клубах пара.

Подошел Авдей и присел рядом, как всегда молча.

— Авдей, почему у вас пес никогда не лает?

Парень удивленно вскинул черные брови:

— Почему? Лает, когда есть на что. Зачем зря лаять?

А вы институт кончили?

— Учусь заочно.

Из бани вышла ослепительно юная и свежая Эмилия, пошла к дому, сверкая белыми ногами. Таня бежала рядом, щечки ее разругались, волосы торчали мокрыми прядками. Она была закутана в выцветшую клетчатую шаль, из-под которой торчала мужская рубашка и мелькали голубые штанишки. Таня подпрыгивала и запнулась за капустную кочерыжку, упала плашмя и испуганно посмотрела на старшую сестру. Авдей засмеялся, вскочил с лавки и кинулся к девочке, поднял ее:

— В лог выкину грязнульку! Фу, противная!

Таня завизжала и забрыкалась, ботинок спал с ноги.

Эмилия махнула на них рукой и пошла в дом, а Авдей поволок Таню снова к бане. Я поднял ботинок и пошел следом. «Эмилия! Кому такая достанется? Ведь достанется же... Вон мать ее досталась какому, и смотреть не на что!»

За столом все сидели чистые и важные. Маруся была без платка, и я впервые увидел так близко ее волосы, иссиня-черные, совершенно прямые и тяжелые, они обмахнули голову двумя воронеными крылами и свились сзади в длинную толстую плетъ, перехваченную синей ленточкой. В едва виднеющихся мочках ушей поблескивали золотыми колечками серьги. Эмилия улыбалась, ослепляя меня своим лицом и глазами. Таня просто хохотала, глядя в мою сторону, и она была прекрасна той красотой, от которой непроизвольно в душе рождается белая грусть. Лесник то и дело поворачивал ко мне красное сморщенное личико:

— Лису, а? Кто ожидал-то?

Авдей важно молчал, разливая водку:

— Мильке не налью. Тане тоже.

Маруся вступилась:

— Налей Эмилиии-то! Чуток!

— Лей, — разрешил и хозяин.

Эмилия ужалила меня взглядом и даже губы чуть приоткрыла. Я все боялся: «Хоть бы не покраснеть. Смотрит, издевается. Эмилия!»

— Вот в госпитале со мной один лежал, ух веселой, — начал лесник, — такой мужик веселой, ухочешься, слушая его. Раненный в голову. Анекдоты все рассказывал. Один раз ему было уж больно плохо, сознание, значит, потерял. А медработники тут совещались возле койки, мы всей палатой слышали, ну, значит, еще два дня проживет — и все! Он-то очнулся, вроде лучше стало. Опять чего-то рассказывает, вроде и смешно, а у нас смеху и не получается, потому как жаль, больно хорош парень. А он возьми и рассердись, что, дескать, мы его плохо слушаем. Балалайку у одного попросил и айда плясать. Мы, значит, чего? Утихомиривать. Он ни в какую. Говорит, что, мол, знает, чего врачи говорили, слышал. Мол, коль мало жить осталось, так хоть наплясаться. Ну мы, раз такое дело, давай ему помогать кто во что горазд. Сестры прибежали, покричали немного да и встали в дверях, смотрят — чего, мол, с дураками связываться! — Лесник замолчал и поднял стакан. — Вишь, мусорина плавает. Вишь, Маруся?

Жена взяла стакан, выловила сорину вилкой.

— Ну, значит, пляшет он, и врач подошел и на часы посмотрел, а сестры режут. Потом кровь пошла. А он говорит: «Хорошо, поплясать дали». Спасибо, говорит, братцы, поплясать дали. А сам лежит, все живой еще и рассказывает, мол, шел я по мосту... Тут пауза. Любил он такие паузы делать. Шел, мол, я по мосту... Вижу, лежит чего-то в бумаге... Нагнулся, поднял — тяжелое... Развернул — глазам не верю... Сказал эдак и молчит. Все гадают, чего в бумаге-то? А он молчит... Так и не сказал. А мы все лежали и думали, чего в газете-то? А и думать-то нечего было!

Выпили. Хозяин посмотрел на сына:

— Вишь вот, говорю, ходи с Милькой на танцы. Не ходит!

Авдей рассердился: